

Владимир Галактионович Короленко СОФРОН ИВАНОВИЧ

Из рассказов о встречах с людьми

I

В первый раз я встретил этого замечательного человека в Копенгагене, в музее Торвальдсена.

Ни один музей в мире не производил на меня более сильного впечатления, хотя, несомненно, есть много музеев и богаче, и разнообразнее. Музей Торвальдсена — это гигантский саркофаг, воздвигнутый над скромной могилой художника. Строгое, простое, почти без всяких украшений здание охватывает с четырех сторон небольшой дворик. Посередине дворика, обставленная цветами, лежит скромная каменная плита, на плите простая надпись; «Bertel Thorwaldsen». Кругом в четырехугольном здании коридоры и залы, в которых собрано в оригиналах или копиях все, сделанное художником, и все, что имеет, к нему отношение. Торвальдсен спит здесь, под этим камнем, окруженный своими творениями... Есть

что-то возвышенное и трогательное в этой символической связи жизни и смерти.

В тот день небо над Копенгагеном было мглистое и серое. По временам моросил дождик, падая сверху на дворик, на асфальтовый мозаичный пол, на зелень кругом могилы и на плиту.

Около нее, когда я подошел, стояли три человека.

Один был рослый, очень красивый старик с кудрявыми седыми волосами и темными бровями. Через плечо у него был перекинут легкий плед, сумка на ремне и бинокль. Рядом с ним стояла дама, совсем еще молодая, которую можно было принять за его дочь. Третий собеседник был, повидимому, туземец — швед или датчанин, белокурый, с белесыми, бесцветными глазами.

Лица у всех были серьезные, как будто даже слегка торжественные. Седой господин снял шляпу, которую держала теперь его спутница, и капли дождя падали на его белую, вьющуюся шевелюру. Повидимому, он служил центром этой небольшой группы. Молодая женщина глядела на него снизу вверх с выражением благоговения, почти обожания. Белесый туземец ловил каждое его слово и движение...

Когда я подошел, старый господин, только что набросавший что-то в записной книжке, вырвал слегка промокший листок и протянул его белесому

господину. Тот пробежал написанные строки и выразил на каком-то неизвестном мне языке свое восхищение. Потом он вынул платок, бережно снял с листка капли дождя и аккуратно, как святыню, спрятал листок в портмоне. После этого они обменялись еще несколькими словами. Я напрасно вслушивался в их разговор, стараясь определить национальность неизвестных туристов; звуки были мне совершенно чужды, — во всяком случае они не говорили ни по-французски, ни по-немецки, ни по-английски, ни по-шведски. Мне показалось почему-то, что это должны быть венгерцы, — вероятно потому, что именно о венгерском языке я не имел ни малейшего, даже приблизительно, звукового понятия.

Через минуту незнакомцы исчезли, и я остался один перед могилой Торвальдсена... Сверху все сеял тихий дождик, шелестя по крышам здания и по мозаичному полу двора. Легкие мгlistые тучи передвигались вверх, навевая какие-то неуловимые, неясные мысли... Начиная вечереть, в здании-саркофаге звонили. Посещение кончилось.

Я вышел из музея с сильным, хотя и смутным ощущением, унося с собою воспоминание об этом грандиозном памятнике, о дворике, о плите с величаво простою надписью, о дожде, о мгlistых тучах и... о высоком старике, стоявшем с непокрытою головою у этой могилы... Вероятно, —

подумал я, — какой-нибудь художник, ученый, поэт, вообще — знаменитость, посетившая Копенгаген. По восхищенно-почтительному лицу туземца можно было догадаться, что он считает это посещение за великую честь для датской столицы...

II

Было это в 1894 году, во время чикагской выставки. Направляясь в Америку, я выбрал, вместо обычной, так сказать, большой европейской дороги, — некоторый международный проселок: через Гельсингфорс я проехал в Стокгольм, оттуда в Мальме, из Мальме в Копенгаген, где надеялся увидеть известного критика Брандеса. Затем уже мне предстояло перерезать Данию и Немецким морем отправиться в Лондон.

Брандеса в Копенгагене не оказалось, и сам Копенгаген показался мне очень неинтересным среди лета. Расположенный точно на опрокинутом блюде над морем, он охвачен застаивающимися теплыми морскими лужами. В середине города огромный сгоревший дворец рисуется в синеве неба пустыми окнами, и перед дворцом, точно на страже этой руины, стоит тяжелая и грузная бронзовая фигура Фридриха VII. Страшная жара, воздух, пропитанный йодистым запахом морской воды и водорослей, непонятный язык и непонятная жизнь

— все это наводило какую-то особенную тоску и заставило меня сократить пребывание в столице Дании. Через несколько дней быстрый поезд понес меня к небольшому приморскому городу Эссбиергу...

Здесь приступ «дорожной тоски» достиг у меня самой высшей степени... Выйдя в Эссбиерге на перрон вокзала, я показал кондуктору свой билет, взятый у Крукса, на котором значилось, что я должен сесть здесь на пароход и следовать в Англию. Кондуктор переговорил с начальником станции, они о чем-то советовались, над чем-то недоумевали и, наконец, как будто придя к какому-то решительному заключению, — толкнули меня в маленький вагон, захлопнули дверцы и... через полчаса вагон выкинул меня на дощатую дамбу пристани.

Это был самый край датской земли, и дальше катились только желто-бурые тяжелые волны Немецкого моря. Вдали, почти на горизонте, лежала еще туманная полоса длинного острова. Большая часть приехавшей со мною публики быстро направилась к небольшому пароходу, который вскоре дал тонкий свисток и, качаясь, как скорлупка на волнах, пошел к острову, волоча за собой необыкновенно длинный и плотный хвост бурого дыма.

У пристани дымился еще только один пароход, к которому тоже направилась часть приехавшей публики. Оказалось, однако, что этот пароход готовится к круговому рейсу вдоль норвежского берега. Он тоже сначала прозвонил три раза, потом три раза свистнул и, отвалив от дамбы, грузно и солидно принялся рассекать морские волны, направляясь к северу. Вскоре он обратился в неясную темную полосу, резавшую однообразные гряды мутных волн. Маленький пароходик уже едва виднелся на фоне дальнего острова.

Потом подошла с запада туча, покрыла остров и затянула пеленой дождя и полосу дальней земли, и горизонт моря, и оба парохода. Затем дождь стал поливать ближайшие волны и застучал по настилке дамбы, на которой я, не зная совершенно, что делать дальше, сидел на своем чемодане, закрывшись зонтиком.

Тут-то «дорожная тоска» захватила меня уже всецело. Опустевшая дамба казалась совершенно мертвой. Под ней плескалось чужое море, невдалеке за пеленой дождя и начинавшихся сумерек виднелся чужой город, с совершенно непонятной мне жизнью, над головой мгlistое, неприветливое, чужое небо... Единственный признак жизни проявляли только два или три вагона, которые, казалось, сами собою, без

локомотива, лениво и тихо катились по рельсам... Это несколько оборванцев-грузчиков — датская «золотая рота» — подавали к дамбе груженные вагоны. Люди были одеты грязно, в уродливых клеенчатых шляпах, по которым струйки дождя стекали на потные лица, на плечи, за воротники...

Мне кажется, что есть особая болезнь, которая охватывает одинокого путника на чужбине... Для нас, русских, она несколько осложняется еще особым оттенком настроения... Содержание этого сложного ощущения, я думаю, лучше всего характеризуется словами: «Все то же».

Да, именно. В этом специфическом ощущении сливается вся горечь «дорожной тоски» со всем, что связано горького с воспоминаниями о родине... К какому бы классу, сословию, направлению мы ни принадлежали, все-таки в первый раз мы въезжаем за границу с чувством ожидания и обостренного интереса. Пусть это будет наивно-западническое преклонение или, наоборот, кичливое пренебрежение к «гнилому Западу», но все же с первым движением нашего любопытства связан вопрос: «Ну, что же? У вас тут много лучше нашего? Свобода, конституция, республика, парламент? Нет у вас ни голода, ни нищеты, ни порока?..» И как бы мы ни были подготовлены, как бы наивными ни казались нам, *теоретически*, подобные ожидания, — все же яркая фигура

какого-нибудь западного lumpen-пролетария отпечатлевается в нашем восприимчивом взгляде с такою яркостью и силой, с какой мы никогда не воспринимаем их на родине. Нам уж как будто и бог велел... А вот у *них*... неужели и у них «все то же»?..

Да, «все то же» — это неизбежная прелюдия к дальнейшим впечатлениям русского туриста за границей. Прежде всего мы видим пятна — со скорбью или со злорадством, и только впоследствии выступают различия, оттенки, явится возможность производить относительную оценку и количественные учеты... После поймешь, что и «то же» бывает *не так* и что вопрос совсем не в том, кто на этом свете достиг уже *всего*, а лишь в том, кто борется и достигает большего...

Все это, впрочем, я понимал и тогда, но это понимание, залегавшее где-то далеко, утопало, как дальний остров за мглою, а впереди, именно как эта мгла, стояла бесформенная тоска русского путешественника. Казалось, что-то вроде морской болезни охватывало меня еще на суше. Сверху лил дождь, внизу глухо билось под дощатой настилкой Немецкое море, по временам проскакивая белую пеной в щели дамбы, и я, одинокий, никому здесь не нужный путник, спрашивал себя с невольным раздражением, — зачем я ношу с собой по свету эту грызущую тоску, когда ей отлично нашлось бы

место и на родном просторе? И я смотрел злыми, скучающими глазами, как ко мне тихо подвигались мокрые вагоны, из-за которых по ту сторону виднелись несколько пар ног в изорванных, грязных и мокрых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу...

Наконец, скрипя буферами, вагоны остановились, и кучка людей вышла из-за них к дамбе. Фигуры были очень живописны со своими грязными одеждами и спокойным утомлением. Привычные датчане не обращали ни малейшего внимания на дождь, и один из них, сухой старик с бритым лицом и впалыми тонкими губами, напомнил мне того бурлака в картине Репина, который на ходу под лямкой так спокойно набивает трубку. Он тоже набил маленькую трубку, сунул ее себе под нос и затем сказал товарищам что-то веселое. Все засмеялись...

В это время неожиданно из-за вагонов появился еще один человек, вид которого поверг меня в сильнейшее изумление: это был тот самый неизвестный господин, которого я видел у могилы Торвальдсена. Те же курчавые седые волосы, та же мягкая шляпа, те же глубокие синие глаза и бинокль на ремне через плечо. Удивление мое усилилось еще внезапным воспоминанием о том, что, пока вагоны двигались по рельсам, я видел среди нескольких пар ног в деревянных башмаках

одну пару в чистых черных брюках и... высоких калошах. Теперь я невольно взглянул на ноги моего незнакомца. На нем именно были высокие калоши. Итак — он помогал грузчикам толкать вагоны! Это подтвердилось и тем, что одно плечо у него было сильно загрязнено, — очевидно, от прикосновения к углу вагона.

Повидимому, острота старого грузчика и смех остальных относились именно к моему незнакомцу. Впрочем, и острота и смех были совершенно благодущны, и господин, оглянувшись на них как будто непонимающим взглядом, тотчас же подошел к грузчику и миролюбиво похлопал его по плечу. Старый юморист, пожевав как-то особенно смешно губами и вдруг вынув из них трубку, — предложил ее незнакомцу. Тот просто взял ее и, сунув себе в рот, выпустил несколько клубов дыма. Это вызвало во всей компании новый взрыв веселья...

Седой господин возвратил трубку по принадлежности и, присев на связку канатов, лежавших на дамбе, сказал вопросительным тоном несколько слов. Старый грузчик покачал головой, видимо не понимая. Незнакомец, повидимому, слегка удивился, подумал и, как будто найдя еще какие-то слова, которые должны были, по его мнению, быть более доступны собеседникам, опять сказал две-три фразы. Старый грузчик оглянулся на товарищей, и все, видимо, несколько

заинтересованные, покачали головами... Тогда незнакомец вынул из кармана небольшую книжку, порылся в ней и сказал короткое слово с каким-то торжественным выражением. Грузчики посмотрели на небо, откуда продолжал тихо сеять мелкий дождик, и закивали головами. Повидимому, там, в вышине, нашлось, наконец, что-то, что было понятно и обще незнакомцу и этим людям. Он поднялся и, внимательно перелистывая свою книжку, находил еще новые слова, которые, повидимому, были также понятны. Грузчики перестали смеяться и, тесно окружив седого господина, слушали и порой заглядывали в книжку с видимым интересом и некоторым напряжением.

Однако старик успел докурить свою трубку, и датчанам нужно было приниматься за работу. Один за другим они подходили к незнакомцу, дружески хлопая его по плечу или пожимая его руку мокрыми, грубыми руками. В их глазах светилось слегка юмористическое выражение благодушия и усмешки, но, когда они отошли гурьбой, чтобы приняться за новую партию вагонов, я увидел почти то же выражение на лице незнакомца. Он смотрел им вслед и слегка кивал головой, причем синие глаза его ласково смеялись. Но на его лице вместе с детской непосредственностью этой удивительно привлекательной усмешки видно было еще что-то,

как будто такое же непосредственное сознание превосходства и уверенности в чем-то.

Потом он оглянулся на туманное море, на пристани, на мокрую дамбу, и его взгляд на мгновение остановился на моей одинокой фигуре. Взгляд этот стал вдруг равнодушен. Сделав несколько шагов, он бросил мне фразу на своем неизвестном диалекте, и мне показалось, что мой непонимающий, отрицательный жест внушил ему какое-то невыгодное обо мне представление. Он отвернулся и пошел по дороге в город. Он шел легкой для его возраста походкой, и его внушительная фигура мелькала над лужами по дороге. Было что-то ободряющее в этой беззаботности. «Ведь вот, — подумал я, — этот странный человек тоже здесь, очевидно, чужой, его языка здесь тоже никто не понимает, и, однако, он чувствует себя так легко и свободно...».

Я отряхнулся, разыскал домик, где жил пристанской сторож, вынул из чемодана смену белья и необходимейшие вещи и отдал чемодан сторожу. Объяснив жестами, что мне нужно в город и что я жду парохода, — я пошел вслед за незнакомцем, фигура которого, впрочем, уже скрылась в пелене внезапно усилившегося дождя.

III

На самом краю города над небольшим зданием виднелась глядевшая на бухту и море золотая вывеска «HTtel Royal», — и я очень обрадовался скромной гостинице Эссбиерга. Здесь, на ломаном немецком языке, с примесью датских и английских слов, хозяин объяснил мне, что мой пароход «Botnia» придет только ночью, а уйдет завтра к вечеру, и что мне всего лучше взять на это время номер в его гостинице...

Я так и сделал. «HTtel Royal» напоминал плохонькую гостиницу нашего Юго-Западного края, разве только несколько опрятнее. Особенность ее составляла двуспальная кровать с перинами чуть не до потолка, крашенные и после того уже сильно засиженные мухами стены и портреты короля Фридриха VII и его супруги в плохих рамах. Снизу слышалось постукивание костяных шаров, и я представил себе, что это чиновники эссбиергского уездного казначейства развлекаются на бильярде. Впрочем, сойдя в зал, чтобы пообедать, я увидел за бильярдом топорные фигуры корабельных шкиперов в кожаных куртках и грубых сапогах.

В гостинице, очевидно, приезжих было мало, в пустых коридорах стояла какая-то томительная, выжидающая тишина, среди которой шаги

раздавались гулко и отчетливо. Когда я, пообедав, опять возвращался в свой номер, соседняя дверь слегка приоткрылась, и в щель выглянуло молодое женское лицо. Увидев меня, незнакомка быстро скрылась. Я успел только заметить сверкнувший при свете лампы черный глаз, светившийся сначала как будто нетерпеливым ожиданием и радостью, потом разочарованием и гневом. Лица мне не было видно. И каждый раз, когда я, уходя из номера, возвращался в него, — до самого позднего вечера повторялось то же: при шуме шагов дверь приотворялась, и ко мне обращались глаза незнакомки, полные томительного ожидания...

Ожидаемый человек не являлся. За тонкой перегородкой я слышал нетерпеливые шаги, постукивание открываемого окна и порой вздохи...

Глубокою ночью с моря до моего слуха донесся далекий протяжный свисток. Я открыл окно. Дождь прошел, хотя по небу, то загораясь, то открывая лунный свет, быстро неслись разорванные облака. Море то светилось подвижными блестками, то погружалось в темноту, и тогда на нем были видны огоньки далекого еще парохода. Это, вероятно, подходила наша «Ботния». В городке началось движение, прогремели две-три повозки, пробежал человек с ручной тележкой, группа темных фигур в клеенчатых плащах неторопливо вышла из какого-то агентства и

неторопливо спустилась к широкой болотистой равнине, отделявшей городок от дамбы и пристани.

Окно моей соседки налево было открыто. Полоса света ложилась на затененную домами улицу, и в этой полосе ясно обрисовывался силуэт женской фигуры. Повидимому, соседка не ложилась и теперь, как и я, смотрела на далекое море... Впрочем, ее интересовала, очевидно, не «Ботния». Она высунулась из окна и жадно глядела на улицу, по которой слева ясно виднелась теперь в лунном свете одинокая темная фигура человека, шедшего по направлению к гостинице... Но вот с моря опять донесся протяжный свисток... Высокая фигура на улице остановилась, как будто прислушиваясь, и затем круто повернула к спуску на равнину. На минуту она исчезла за крутым спуском, а потом я увидел темный силуэт на одной из дорог к пристани...

Окно соседки резко стукнуло, и затем я услышал из-за тонкой перегородки, как она бросилась на свою кровать. Я представлял себе, что незнакомка непременно плачет... Ждать с таким нетерпением весь день до глубокой ночи и видеть, как страстно ожидаемый человек поворачивает почти от двери и опять скрывается в далеком сумраке, — это казалось мне серьезным испытанием и не для женских нервов...

Я посмотрел на часы. Было уже около двух, но мой сон улетел. Я с какой-то особенной ясностью чувствовал за перегородкой нервное нетерпение моей соседки, которая опять беспокойно ходила по своей комнате... «Кто она и кого ждала с таким нетерпением?» — думал я невольно, глядя, как синеватый лунный свет то врывается в мой номерок, то опять угасал, выдвигая на время портреты Фридриха VII и его супруги и опять отодвигая их в сумеречную даль...

IV

Проснулся я на следующий день очень поздно, написал несколько писем и пообедал в гостинице, в которой теперь стучали шарами на бильярде новые игроки, впрочем, в таких же кожаных куртках и таких же грубых сапогах, очевидно, опять моряки, быть может, с нашей «Ботнии». Когда я шел по коридору к своему номеру, то увидел, что соседняя дверь открыта настежь, и высокая молодая служанка, напоминая валькирию и ростом и дородством, подметает и убирает номер. Итак — моя соседка тоже выехала, и я подумал не без удовольствия, что, вероятно, я встречу ее на той же «Ботнии». Мне было приятно, что на борту чужого и незнакомого парохода может найтись человек, о

котором я хотя кое-что знаю и относительно которого у меня есть определенный вопрос, дразнящий до известной степени любопытство.

Спускался уже вечер, когда, сделав некоторые покупки в городе и расплатившись в HTtel Royal'e, я опять подъехал к дамбе, так негостеприимно встретившей меня вчера. Ветер усилился против вчерашнего, и дамба вся дрожала от ударов волн, попадавших под ее настилку и бившихся там, точно разъяренное животное в клетке. Прилив кончился, гряды волн неслись к берегу, покрытые белыми гребнями, но вся масса моря, видимо, начинала отступать, обнажая песчаные отмели, по которым бегали дети с заголенными ногами, собирая крабов. Пароход качался и скрипел на причалах, грузно налегая на пристань под ударами волн, и ветер резко и жалобно свистел между вантами.

Все это обещало довольно спокойную ночь в море, хотя и капитан и прислуга «Ботнии» отвечали на вопросы, предлагаемые на разных диалектах, что никакой бури нет и что это только «свежий ветер» (frisch Wind), а за брекватером, в открытом море, волнение гораздо слабее. Я заметил, что все капитаны отвечают подобным же образом в таких случаях и что на публику это утверждение, хотя бы совершенно противное и очевидности и здравому смыслу, всегда производит успокоительное действие...